

ВЛАДИСЛАВ ШАПОВАЛОВ



СИНИЙ ЛЁН

РАССКАЗЫ

Пришлось по школьным делам съездить в дальние хутора. Дорога была ровной, лошади шли дружно. Мой возница Семён Гордеевич, или просто Гордеич, как мне представили его, сидел на телеге бочком, держал в руке витой кнут. Хлыстик сыромятной кожи свисал к земле, чертил в пыли след.

— К обеду вернёмся? — попытался я завязать разговор.

Гордеич не ответил.

Ехали молча. Слева от нас, куда ни глянь, колосились хлеба, справа частил стволами, помигивая небом, раскидистый сад, обнесённый в два ряда тополями, которые бросали на дорогу зубчатую тень. Лошади подхватывали её с земли себе на спины, кидали в телегу. Густая рябь зайчиков мельтешила в глазах, металась на руках, рвала колени. Забавная игра светотени ничуть не занимала моего Гордеича. Он всё так же неподвижно сидел на телеге, смотрел на кончик вишнёвого кнутовища. Земля была ему привычна и обыкновенна, он честно работал на ней.

ШАПОВАЛОВ Владислав Мефодьевич родился 30 ноября 1925 года в селе Васильковка Днепропетровской области. Семнадцатилетним ушёл на фронт, освобождал от фашистских захватчиков Украину и Польшу. Тяжело ранен при форсировании реки Висла, где, согласно архивным наградным документам, в бою уничтожил шесть гитлеровцев. Награждён боевыми орденами и медалями. После войны окончил университет и проработал в школе более тридцати лет — учителем, завучем, директором школы в Курской области. С 1982 года живёт в г. Белгороде. Автор более сорока книг прозы, часть которых переведена на западноевропейские языки. Лауреат четырёх журнальных премий и Всероссийской литературной премии “Прохоровское поле”, дипломант конкурса Госкомиздата РСФСР.

Выбрались на простор — ударило солнце. Солнце парило, из-за горизонта надвигалась туча. Иссиня-чёрная, она угрожающе нависла над землёю и блеснула молнией.

Послышался гром.

— Успеем? — показал я на тучу, пересекающую нам дорогу.

Гордеич оторвал от земли хлыстик, занёс над лошадьми.

Лошади сами чуяли грозу, дружно упирались в шлею, откинув назад, к телеге пышные хвосты, и дробно перебирали копытами.

Раздался близкий светящийся треск. Солнце померкло.

Вскоре впереди, на дороге начал вспыхивать редкими дымками, точно от пуль, первые увесистые капли. Капли шевелили травы, шлёпались лошадям на спины, дробились на руках.

Я поднял воротник и съёжился.

Наконец, за угором свечою начал подниматься стройный тополь, и рядом, точно из земли, прорезалась углом в небо крыша. Мы соскочили с телеги, заспешили к небольшому дому. Невдалеке у дороги голубело буйным цветением поле льна. Высился тополь, чернел мокрой полосой просёлок.

Мы долго стояли под нахлобученной стрехой, всё плотнее прижимаясь к стене; вода, отгородив нас словно сплошным упругим стеклом, подступала к ногам. Сквозь неровное стекло мы смотрели на шумящий в дожде тополь, на лошадей с поникшими головами, на цветущее поле льна. Поле бушевало синим кипением.

— Ну как, Гордеич? — глянул я на его сапоги, все в рябых отметилах.

Моим щегольским туфлям досталось больше, но мне почему-то стало весело.

— Надо уходить, — впервые ответил он мне и глянул на мои ноги.

Рискуя задеть плечом льющееся с крыши стекло, мы просунулись по очереди в сенцы.

В доме было сумрачно, синие стены вспыхивали пепельным светом молний. У окна сидели мальчики — старший и младший. Они рассматривали картинки. На подоконнике лежали листы, вынутые из журналов.

Коротко стриженные головы мы заметили ещё издали, подъезжая к хutorу; мальчики смотрели, как мы скачем под дождём. Глаза у них были синие. То ли от грозы, то ли от цветущего льна.

Я поздоровался, и мальчики повернули по очереди головы, осмотрели нас не признающими взглядами. На журнальных листах я заметил знакомые издавна, известные всему миру пейзажи. Мальчики рассматривали картинки, а мы, вымокшие, смотрели в окно. За окном, точно в раме, стояли, опустив гривы, лошади; блестела, будто покрытая лаком, телега. Шумел густою синиею капелью лён.

Но вот откуда-то из-под синей тучи блеснуло мутным сиянием солнце. Его не видно, однако оно чувствуется во всём, от земного светлеющего неба до сверкающей уздечки. Редкие косые линии затихающего дождя слегка смазывали картину, отчего она казалась ещё сказочней: синяя, как лён, высь и синяя, как небо, земля.

— Ух ты! — воскликнул младший, заметив, что мы смотрим куда-то мимо них, в окно, на лошадей, на телегу, на цветущий лён.

Старший тоже оторвал взгляд от журнальной картинки. Посмотрел в окно, толкнул рукой раму. Обе половинки разлетелись, в комнату вошёл волнующий запах прошедшей грозы, напоенной влагой земли, синего, не пахнущего обычно льна и тёплого солнца.

— Давай нарисуем! — предложил младший.

Старший не ответил, а с вызовом рванул из тетради лист, потянулся к ручке. Младший принёс чернил. Чернила были синими.

Мой Гордеич смотрел удивлёнными глазами, будто впервые видел лён не в холсте, не в рубахе, а в голубом неостановимом цвету. Он всю жизнь прожил, работая на земле, склоняясь к ней, а теперь разогнулся и увидел её, земно: лошади с вымытыми гривами, сияющая телега, поле в цвету льна. И внизу, в той же раме, две мальчишеские головы.

— А назовём как? — спросил младший.

— Ну... — замялся другой.

Дети долго не могли придумать название и не знали, с чего начать.

— “Гроза”, — предложил я.

Ребята повернули ко мне головы. Грозы уже не было, и я тут же поправил себя:

— Лучше “После грозы”.

Я думал о возрождении земной красоты после грозы, как она может влиять на человека, меняя настроение. Лучшего названия, казалось мне, придумать нельзя.

— “Синий лён”, — просто сказал Гордеич.

Мальчик свысока глянул на кипу глянцевиных вкладок — собрание всех галерей мира, — придвинул к себе тетрадный лист, макнул перо.

Дождь прошёл.

Мы вышли на улицу. Свежий воздух, разбавленный слегка грозовым озоном, бодрил.

Где-то в облаках матовым сиянием проявилось высокое солнце. Дышалось легко и свободно. Цветущий лён, омытый дождём, горел синим пламенем. Гордеич подошёл к телеге, замер, вглядываясь в дали. Смотрел он на мир детскими глазами старика. Глаза его отражали синь льна. Или неба.

Он подошёл к лошадям, поправил на блестящих спинах упряжь. И ходил вокруг не по возрасту бодро, старался не хромать и всё поправлял, доставая из-под низу, где посуше, сено, чтобы удобно было сидеть.

Мне же не хотелось уводить лошадей, чтобы не помешать ребятам дорисовать “Синий лён”.

— Поедем? — спросил он несмело.

Я повернулся и увидел, что у него совсем иное, чем было прежде, лицо. Что хмурь была лишь в бровях, а глубокие морщины на лбу означали не безысходную старость, а мудрость. Я взобрался на телегу, он сел плотно рядом.

Мягко, точно по соломе, катилась телега, наматывая на колёса и тут же сбрасывая мокрые ленты земли, плыло рядом синее поле.

А в окне, что у самого тополя, долго ещё виднелись две головы, склонившиеся друг к другу.

НА МЕЛЬНИЦЕ

Воспоминания детства

Мать накладывает в лукошко пирогов. Сулико, мотая хвостом, носится от порога до ворот.

И вот уже луг. Звенит, мельтеша крыльями в глубине синего неба, запарашивая глаза, полевой жаворонок; скрипят под ногами громкие кузнечики; шелестят лёгкие сухие стрекозы. Красными огоньками вспыхивают маки; розовый оторочкой по краям луга — фонарики дикого клевера; пламенеют в тёмной прозелени густой поросли крупные ягоды земляники. Сечёт в траве след Сулико.

— Сулико! Сулико-о-о-о! — кричит Петька.

Эхо разносит красивое звучное слово по лугу до самого леса. Без умолку хочется кричать “Сулико!”

Пёс становится, повернёт голову на зов. Поднимет морду, глянет нетерпеливо — чо, мол! — и снова сечёт траву. Так всю дорогу играют, а перед лесом смиреют. Строг лес. И шалостей не позволяет.

Тропинка, словно вход в шалаш, пропадает в зелени ветвей. Темно становится сразу, будто кто пологом накрыл сверху. За поворотом блеснула зелёная от листьев река. Плотина, обсаженная ивовыми колами, выросшими в деревья; труба, вложенная в плотину для слива паводка; шаткий переход на ту сторону.

Провода вместо столбов по деревьям тянутся; белые чашечки изоляторов, словно сороки, сидят на ветвях парами. А настоящие — на проводах.

Работают хвостами, чтобы равновесие держать. Хвосты длинные, как линейки: вверх-вниз, вверх-вниз.

У плотины серым паучком вцепилась в кустистый берег мельница. Окошко, завешанное вздрагивающей мучнистой паутиной. Обломок жёрнова, брошенный вместо порога. Светлый дедушка в тёмном проёме двери. Как всегда. Как вечно!

— Здравствуй, дедушка!

Деду Евсею надо кричать. От шума водяного колеса и жерновов у него оплошали уши.

— Будь здоровый! — кричит в ответ дедушка.

— Зачем кричишь? — спрашивает Петька, зная, что глуховатые люди разговаривают громче.

— Зачем кричу?! А ежели отвечу тихо, подумаешь, что сержусь!

На нём полотняная рубаха, вышитая чёрными и красными крестиками у ворота и на рукавах, пыльные от муки сапоги, старый, с поломанным козырьком картуз.

Петька ставит на порог лукошко с пирогами, с квасом, с крынкой сметаны. Дедушка садится на обломок жёрнова.

— Ну, дедушка, поймал? — не терпится Петьке.

Дед Евсей берёт ложку, пробует сметану. Сметана такая густая, что вместе с ложкой поворачивается и крынка.

— Нет, внучек, стар я! Не управился за его прыткими ногами.

— Что ж ты... — с досадой произносит Петька.

Он даже сам не понимает, почему начинает злиться.

Повернулся круто — взлетели белые чашечки сорок. Лишь провода колыхнутся. Указывают, что на них только что сидели пташки.

Перешёл на ту сторону, заглянул в трубу, вложенную в плотину. Летом труба сухая, в неё после наводка собираются на линьку ужи.

Заглянул вовнутрь — шуршат на сквознячке чешуйчатые ленты, словно вороха спутанной киноплёнки. И Петьке всё время кажется, что ужи только что вылезли из прозрачных, посечённых на повторяющиеся кадрики чехольчиков...

Склонилась над рекою ива, запустив удочки ветвей с берега в неподвижную воду. Ловит зеркальных карпиков. А то и линьков. Пузырёк со дна поднялся, разойдясь ленивым, затухающим к берегу кольцом. Ласточка бесшумно летит по глади реки, перевернутая вверх брюшком...

Вернулся к мельнице, спросил в отчаянии:

— А приходил нынче?

Дедушка приложил к уху ладонь:

— Чтой-то?! — И тут же, по губам, догадался: — А как же! Приходил! Я ему на затёсок хлеба корочку положил! Он её и взял! А когда взял, я и не заметил...

Петька смотрит на плотину, заросшую старой ивой, на подрост свежих кольев, забитых в землю промеж деревьями для их смены, и видит, как маленький бурый медвежонок подкрадывается к плотине, поднимает мохнатую морду и, вытягивая хоботком губы, схватывает сухую корочку...

— Эх ты... — произносит с укором.

Вода шумит под колёсами, пенится. Деревянный помост вздрагивает. Гудят жернова.

Дедушка Евсей складывает ложку и крынку в лукошко, надевает старый картуз, идёт на мельницу. Ноги у него слабые, тронутые недугом, с трудом волокут сапоги через жёрнов-ступеньку.

Дубовые зубья, смазанные дёгтем, вращаются неторопко. Тонкой струйкой течёт пушистая мука из деревянного жёлоба. Электропровода в инее провисают к лампочке...

А под полом, куда уходят в воду к самому дну доски, покрытые вечной зеленью, громовая работа. Скрипят снасти, содрогаются белёсые от муки стены. Пахнет тёплыми сухими отрубями и свежими водорослями.

Смотрит Петька на деревянное колесо, слушает вечное гудение, и ему уже не хочется почему-то ни о чём расспрашивать...

Дедушка подошёл к жёлобу, подставил под жидкую струйку руки. Взял в щепоть горячей муки, пробует, растирая пальцами, помол.

На его лице колыхается зелёный водяной зайчик, гладенькая, без волос, кожа на щеках просвечивает воском. Стар дедушка. Древен. И Петьке становится жаль его. Он прощает ему незамысловатое враньё, отводит глаза и, минутою взрослея, с какой-то щемящей болью в груди начинает постигать, что всё вокруг не вечно, что когда-то всего этого не станет и что он уже не прибежит сюда босоногим мальчишкой с беззаботным Сулико и крынкой сметаны в плетёном лукошке...

СУДАРЫНЯ

Старая лошадь по кличке Сударыня любила слушать разговоры людей. После работы конюхи соберутся в кружок, чтоб обсудить завтрашние дела — наряд, какой выполнять придётся, — она тихо подойдёт сзади, замрёт, свесив голову. Покорно слушает. Будто понимает, о чём говорят. Часами может стоять.

Мужики говорят о том, кому куда завтра ехать: одному — за сеном в луга, другому возить бочку с водой на поле, третьему — на бойню за мясом для столовой. Оглянется кто, заметит между прочим:

— А она уж тут как тут.

— А то где ж ей быть!

— Вот любопытная тетеря!

— Сударыня.

Сударыней она была в прошлом. Назвали её так давно, ещё в молодости, когда она выделялась и статью, и горделивою ходьбою. Сударыня как-то особо, по-лебединому, с достоинством держала шею, размеренно, подобрав удила, переставляла торцовые копыта, и её белёсо-блондинистая грива рассыпалась на скаку волосами очаровательной русалки.

Да со временем от непомерной работы шея опала, копыта стёрлись, а грива иссеклась, и теперь Сударыня ничем не отличалась от других кляч, стоящих в ряду на привязи в конюшне. Особенно выдавались торчащие по бокам кости и провисший под ними живот. Кожа на коленях лоснилась протёртыми лысынами, а в западинах проваливалась морщинистыми складками.

От мужской компании её никто не отгонял, что из того: послушает-послушает — сама отойдёт. И так как лошадь человеческой речи понимать не могла, как считали конюхи, то они при ней и не стеснялись в выражениях, порой посолённых крепкими завёртами.

По сути, это были одни и те же изо дня в день разговоры — о конюшне, о поле, столовке, бойне. Казалось бы, слушать здесь нечего. Но Сударыня, как только выпадала минута, подходила к мужикам сзади, замирала в одной и той же позе, незаметно дыша, редко мигая большими сиреневыми глазами. Со стороны могло показаться, что она о чём-то думает.

Конечно, старая лошадь уже привыкла к одним и тем же разговорам и хорошо различала знакомые слова — конюшня, поля, столовая, бойня. А запахи, которыми были пропитаны мужики, напоминали ей то тьмяно подпаренный душок стойлового навоза в конюшне, то чистый, волнующий ноздри ветерок польного поля, то жирный дух столовки, где выносили ей что-нибудь из помоев, то удушающий, пахнущий смертью и кровью дух бойни. По этим запахам она гадала, куда потянет своё бремя обязанностей завтра.

Особенно действовали на неё запахи бойни. Она улавливала их ещё издали. Ноздри её округлялись, а шерсть на загривке топырилась. И она с трудом пересиливала этот душок сладковато подопревшего навоза, смешанный с запахом дымящейся крови, отчего рвотно подташнивало и кружилась голова. С каким-то отвратным чувством ещё сильнее упиралась она истёртой грудью в хомут, была растоптанными в лапти копытами о землю и, подогнув голову, ещё крепче захватив удила, преодолевала последние метры до ворот. Конюху казалось, что коняга старается без понуканий, и он хвалил её.

— Тебе, Васька, загадали корм возить, — и Сударыня знала, что завтра

ра будет, хотя и трудный, но светлый день с духмяными запахами луговых трав и цветов.

— Завтра воду возить, — и она знала, что тоже выпадет хороший день, когда на поле тебя ждут и радуются, увидев бочку на двух колёсах с большими аллюминиевым кухлем, прикованным цепью к оглобле. И ноша становится мягче, а дорога короче.

— Поедешь на бойню, — говорил конюху Ваське бригадир в следующий раз, и её сиреневые глаза меркли, точно затушенные огоньки в ночи, а ноги подкашивались.

Так шли дни за днями, Сударыня подходила незаметно сзади. Опустив голову, замерев дыханием, слушала и не слушала — и всё было, как прежде, как всегда. Как вечно.

Но однажды утром она услышала какую-то непонятную путаницу слов.

— Какую запрягать?

— Дык Сударыню.

— Её велели оставить. Поведут на бойню.

Ясное дело, старая лошадь ничего не поняла. Но то, что её впервые не запрягли, говорило о многом. Она вся как-то напряглась и замерла. Незнакомые слова рядом с её именем взбудоражили всю душу. Ей почудились те запахи крови и подопревшего навоза, что всё чаще стали преследовать её. Сударыня вздрогнула вся и отошла в сторону. Неясное, но страшное предчувствие не давало ей покоя.

Рано утром, как только чуть заалел восток, она, подёргав поводья, распутала на железном кольце привязь, вышла незаметно из конюшни во двор. Окинув тяжёлым, с нависшими на зрачок веками взглядом луга, где резвилась когда-то беззаботно жеребёнком, тысячи раз изъезженную дорогу, где была истрачена трудом вся её жизнь, ветхую, с полузаваленной крышей конюшню, что всегда согревала её теплом в ненастье, она двинулась в сторону леса.

...Её нашли у опушки. Лежала она среди душистых трав с вытянутой шеей и, казалось, дышала их пряными запахами. Но лежала она безжизненно и была мертва.

ОТЧЕГО ЛЫСЕЮТ ПЧЁЛЫ

Ранней весной старый пасечник сказал мне:

— Пчела рудая пошла.

Это значило, что зацвёл первый медонос — орешник, — и пчела стала брать коричневую пыльцу.

Затем пасечник сказал:

— Пчела голубая пошла.

Распустились подснежники, и пчела, набивая обножку — цветочную пыльцу — в свои волосяные корзинки на задних лапках, поголубела.

— Жёлтая пошла, — объявил пасечник позже.

Оказывается, сообразил я, раскрылись цветы одуванчика, и пчела, доставая нектар, пачкается жёлтой пыльцой, припудривая волоски на голове.

Потом шла пчела зелёная, красная, фиолетовая...

— О! — произнёс однажды старик осенью, когда уже, казалось, нет цветов. — Пчела лысая пошла.

— А это что?

— Дело не хитрое, — не сразу ответил мне малоохотливый на слово пасечник и кивнул на скошенное поле.

Поле было как поле. Хлеба убрали, но на зябь ещё не выходили. Жёлтая стерня взялась зелёной опушкой муравы с белёсыми заливами мелких цветочков. Я посмотрел на поле и ничего не понял.

— Зябрик объявился, — буркнул тогда старик.

— Ну и что?

Пасечник не любил, когда ему докучали вопросами. До всего, считал он, доходить следует своим умом. И я думал и думал, но ничего не мог сообразить.

Наконец, пасечник снисходительно улыбнулся.

Оказывается, у зябрика этого пожнивного так устроен цветок, что пчела, доставая нектар, не только сбивает на голове маленькие волоски, но и пачкает пыльцой темя, надевая на макушку белёсую “тюбетейку”, похожую на лысинку.

Вот и кажется, что пчёлы по осени лысеют.

ПЕРЕМЕНА

Уже давно идут осенние затяжные дожди. Небо сидит на плечах, давит грудь. И нет prodыху ни земле, ни сердцу. Зябко, неприятно, сыро, души не согреешь.

Набухли и почернели деревья, вылезли на поверхность земли дождевые черви, омытые водою до мертвенной бледности. Поникли желтеющие травы. Что ни день — то досада: безвыездно, безвылазно...

А вчера вечером появился проблеск. У самого заката образовалась плоская расщелина, и оттуда, подсвечивая тёмно-синие исподу мрачные космы туч, ударило лучами красное, как на ветер, солнце.

Не иначе — к перемене.

Ночью дождь отошёл.

И поднялось над головой небо. И посветлели деревья. И выровнялись травы. И снялась чёрная тяжесть с груди. Наступила короткая, но отрадная пора бабьего лета.

ЧЁРНЫЙ АИСТ

1

В небольшом городке Судже, что стоит на речушке с таким же древним названием, есть старая полуразрушенная церковь. Штукатурка на стенах церкви почти вся обвалилась, карнизы и крыши поросли травой и кустарником. Железо на куполе обнесли ветры, красный кирпич темнеет местами прозеленью мхов.

Но на самой макушке огромного купола сохранилась небольшая башенка. Стройная башенка светится насквозь всеми четырьмя окошками на все четыре стороны света. На башенке водятся из года в год аисты.

Гнездо сложили они из грубых сучьев и веток и каждый год, прилетая по весне, правят его. Принесёт хворостинку старый аист, подпихнёт длинным клювом. Уложит её, попробует лапой: прочно ли? Следом за ним несёт пруттик аистиха.

Общеизвестно, каким покровительством пользуются аисты у людей. По народному поверью, аисты стерегут счастье, беду к дому не подпускают.

Стоит старый аист на своих узловатых в коленях ногах у самого края гнезда, счастье бережёт. Беду не подпускает. И как появилось то счастье — выткнулись из гнезда четыре шейки. Снизу казалось, будто четыре графина стоят в блюде на башенке.

2

Малые аистята сидели в просторном гнезде и поначалу ничего, кроме неба и прутьев своего жилья, не видели. Они слышали где-то внизу, под башенкой, гул машин, шум листвы, плеск воды, но не знали, что это такое, да особенно и не задумывались. Их занимало другое. Покажется в небе отец с лягушкой или кузнечиком в длинном клюве — они все и подадутся на край гнезда. Вытянут шеи. Появится мать — передвинутся к ней. И только она ударится вытянутыми ногами о край гнезда, как с другой стороны отталкивается вверх аист-отец. Вроде акробатов на доске, положенной сверх бревна: один прыгает, другой взлетает. И так с утра до вечера, пока зайдёт солн-

це, летали они на заливные дуга, где остались уёмистые бочажины, полные всякой живности. А как старая аистиха осталась, навсегда осталась на болоте еле приметной кочкой, заботы легли на плечи одному. Аист-отец был стар, к вечеру не чувствовал крыльев.

3

Вскоре малые аистята оперились и стали похожи на взрослых. Только ростом поменьше. Возле глаз у них выделились тёмные полосы до самого клюва, края крыльев почернели. Встали на свои длинные ноги, осмотрелись вокруг. Теперь они были похожи не на горлышки графинов, а на портовые краны.

Стоят на башенке все четыре крана, смотрят, что происходит вокруг. Удивляются миру.

Кроны деревьев лежат на земле зелёными шарами, речка вспыхивает ослепительным светом в окаёмке тальника. Бугрятся красными крышами дома с телемачтами, похожими на ромбики с паутиной перекладин. Дома стоят на высоких кирпичных фундаментах, возле каждого — по три верей* с железным козырьком над воротами и калиткой.

Дальше — четырёхугольная труба школы-интерната, за нею — каланча с нахлобученной на смотровые окошки крыши. И уже совсем далеко, в дымчатой мгле, на железнодорожной станции, еле просматривается высокий элеватор, похожий издали на спичечную коробочку.

То, что находилось близко, под ними, аистята, разумеется, не видели. Они только слышали, как громко перекликаются на переменах ребячьи голоса во дворе школы-интерната, как раздаётся звонок и как потом, в тишине, совсем близко, за оградой детского сада курлычат качели.

По вечерам на улицах городка зажигались фонари. Воздух пропитывался неоновым светом. Затенённое гнездо, казалось, плыло над морем сияющего огня.

Иногда, по субботам, птенцов пугала музыка. Ещё задолго до темноты в листе городского парка зажигались разноцветные — синие, красные, жёлтые — лампочки. Бил барабан, и аистята вздрагивали. Сквозь просветы в деревьях было видно, как там, на свету, на танцплощадке толкались парами под музыку люди, и гремел оркестр. Одну ночь оркестр не умолкал до утра. Звонко смеялись молодые голоса. И на рассвете мальчишки в чёрных костюмах, девочки в белых платьицах, взявшись за руки, побрели к реке, на мост — встречать восход солнца.

Не знали аистята, что люди, подобно птицам, провожали из гнёзд своих выросших детей. Не знали они и того, что вскоре им придётся покидать удобное и приветливое, ласковое и мягкое, хотя и сложенное из сучковатых прутьев, родное гнездо.

4

Ещё больше пугал птенцов другой барабанный грохот, похожий на далёкий гром. Погремит-погремит у реки и стихнет. Жужжит потом пчёлкой мотор под самым гнездом.

То был деревянный мост. Когда по нему проходила машина, мост отзывался раскатистым грохотом.

Мальши вытягивали шеи — смотрели на детские качели за оградой, на асфальтовую дорогу с ползущими автомашинами, на деревянный мост через реку.

Городок Суджа небольшой, в страду перегоняют по его улицам комбайны с поля на поле. Смотрят аисты: детвора, взявшись попарно за руки, переходит улицу с воспитательницей; машины громяхают на мосту: один раз — при въезде, другой раз — на той стороне. Комбайн гонят с поля на

* Верей — столб, на котором держатся ворота.

поле. Диковинная махина заняла всю проезжую часть и перед мостом остановилась в нерешительности. Мотор приглушила.

Помощник комбайнёра соскочил с высокой ступеньки, забежал вперёд, повернулся лицом к комбайнёру, идёт задом и на себя руками машет. А комбайн зарычал мотором, осторожно между перилами вписался широкий хедер. Въехал на деревянный мост, потихоньку за человеком в синем комбинезоне движется. Помощник следит за небольшими зазорами между хедером и перилами, показывает куда править — влево или вправо. Потом опять на себя машет руками — пошёл! И так, пока мост не кончится.

Мост кончился, и комбайн включил скорость и прогромыхал красной громадиной почти под самым гнездом. Аистята со страхом покосились на выхлопную трубу.

5

В такую пору, после жатвы, когда гнездо покажется уже тесным, молодые аистята обучаются летать. Станет старый аист на край гнезда и машет-машет крыльями. А не взлетает. Показывает своим детям, как работать крыльями.

Молодые тоже пробуют. И как замашут крыльями, теряют равновесие. Старый аист громко трещит клювом. Говорит, что недоволен учёбой. Ставит оценку, понятно — какую. Закинет назад голову, треснет громко длинным клювом. И малыши начинают всё сначала, только осторожнее.

Станет какой посредине гнезда, раскинет крылья. Держит их на весу. Остальные сидят, а он держит. Ветер качает крылья, аистёнок тренируется сохранять равновесие. На смену ему поднимается другой. И так по очереди, несколько дней подряд, пока не обучатся самому простому — держать равновесие с раскинутыми крыльями.

Только после этих уроков начинают они пробовать взлетать. Опять же по очереди. Замашет какой крыльями, поднимется на метр. Перелетит с одного края гнезда на другой. И так, может показаться, без конца. Не летает, а прыгает. В общем, тренируется. Или упражняется. Как хотите. Выполняет домашнее задание. Ноги при этом у него не вытянуты, назад, как обычно при полёте у аистов, а болтаются длинными костылями.

Так аистёнок подсакивает, пока не устанет. На смену ему принимается за учёбу следующий. И такую толчею устроят, что не усидеть в гнезде. Старый аист был слаб, ему нужен был покой. И он перебирался на трубу школы-интерната, подолгу стоял на высоких ногах, наблюдая за гнездом. И как сделает кто промашку — застучит сердито длинным клювом, а как всё идёт на лад — пострекочет тем же клювом мягче. Голоса у аистов нет, переговариваются они стуком клюва.

У аистов, как у большинства птиц, очень серьёзный образ жизни. Малыши, как правило, не озоруют и стараются постичь свою науку изо всех сил. Вот старому аисту и приходится чаще стрекотать, чем строго стучать клювом.

6

Так молодые аисты узнали силу крыльев и поняли, что с ними надо обращаться осторожно. Теперь можно было приступать к полётам.

Сначала поднимались они над гнездом невысоко, на несколько метров. Повисят немного в воздухе, минуты две-три, и тут же поспешно, вытянув длинные ноги, нащупывают край гнезда, как неопытный пловец дно берега. Один смельчак замахал чаще крыльями, поднялся выше. Забрался так далеко, куда ещё никто из них не доставал. Он даже не заметил, как легко понесли его крылья. Чем сильнее он ими работал и выше поднимался, тем больше влекла его высота.

За смельчаком снялись по очереди остальные аисты. И так держались над башенкой, не отклоняясь в сторону, а забираясь всё выше и выше. Неба они не боялись — боялись земли.

В этом полёте молодые аисты научились вытягивать вперёд шею и складывать вместе, откинув назад, ноги. И как начали спускаться, то попробовали, раскинув крылья, парить в воздухе.

Старый аист всё это время стоял на трубе интерната. Косил глазом в небо. И только молодые аисты благополучно приземлились, потрогал клювом громоотвод, пострекотал немного, для порядка, глядя в сторону.

7

Теперь аисты летали каждый день и задерживались в небе всё дольше и дольше. Заберутся ввысь, спланируют кругами. Они впервые ощутили безмерность неба, и, чем выше поднимались, тем смелее и шире расступались перед ними дали.

Городок точно кто посыпал домиками: гуще к центру, разрежённой приусадебными участками к окраинам; река — будто кто серебряную нитку уронил извивами в луговой траве. Маленькая, точно спичка, перекладинка моста с маковками автомашин. И станция с коробочкой элеватора.

Как мельчает всё на земле, когда поднимаешься ввысь! Как ширятся неоглядностью дали! И как захватывает высоту сердце! Снизу казалось, будто не аисты, а белые голуби мерцают в ослепительно голубом небе. Смелчак так увлёкся, что нечаянно врезался в тучу.

Он врезался в тучу, и сразу оторопел и растерялся, не зная, что делать. Раньше ему приходилось наблюдать туман. Белый пар шёл рекою и не доставал до башенки. А если и доставал, то легко прочёсывал сучья гнезда, и аистята не теряли друг друга из виду. Теперь же он с разгона влетел в пар, глаза ему залило молоком, и он широко раскрыл зачем-то клюв. Аист всё бил и бил крылом воздух, а молоко не редело, и он не на шутку испугался этой бесконечной белой жути.

Так же внезапно и в один миг, как прилипло к глазам непроглядное молоко, блеснуло солнце. Солнце блеснуло весело, и внизу мерно заколыхалась контрастная мозаика земли. Аист поставил крылья, спланировал кругами, сужая кольца, над башенкой. Достал ногами родное гнездо — отлегло от сердца. Сложил крылья, глянул на трубу интерната.

Старый аист всё так же стоял одиноко на своих длинных ногах, смотрел стекленеющим глазом в беспредельную даль.

8

Иногда их водил старый аист. Он перелетал с трубы интерната на башенку и, постояв немного, отталкивался от гнезда. За ним по очереди снимались остальные. Летели они теперь не вразброд, каждый сам по себе, как прежде, а вместе. Сделают круг над башенкой, возьмут другим заходом шире, почти до станции. Блеснули за посадкой четыре спаренные струны железной дороги, показался состав. Длинный-предлинный. С оранжевыми тракторами и комбайнами на платформах. Состав двигался к станции, где остальные нити рельсов расходились и скрещивались друг с другом, образуя целую сетку. На станции в одном месте разгружали розовые брёвна сосен, в другом — высыпали с грохотом щебень. Возле элеватора, теперь высокого и стройного, желтели кучи зерна; ходили по перрону люди.

Аисты захватили одним крылом станцию, развернулись глубокой спиралью.

Проплыла назад маленькая водокачка с небольшой коренастой трубой; вспыхнула остриём ножа река, прерываемая на изворотах зарослями буйного кустарника. Остался позади городок. Старый аист взял курс на болото.

Он летел, вытянув шею, откинув назад ноги, тяжело и глубоко взмахивая иссеченными крыльями, и подолгу парил, присматриваясь к земле. Снился над болотом, вытянул ноги, как самолёт колёса при посадке. Сел возле бугорка, сложил крылья. То была могила матери-аистихи. Вернее — отатки её праха.

Старый аист постоял молча, недвижимо возле чуть приметной кочки, присмирели и аистята.

Так они отдали дань памяти матери. И старый аист, немного отдохнув, снова, как самолёт, взял разбег, с трудом оторвался от земли. Следом выстроились остальные, все четверо.

И вот уже уходит под крыло раскидистое урочище молодой дубравы, и показалось в западне лога небольшое село, и они пересекли невидимую границу и стали теперь не аистами, а чёрногузами.

На Украине аистов называют чёрногузами. Но это будет несправедливо хотя бы потому, что хвост у аистов белый. Это нам кажется, будто хвост у них чёрный, а на самом деле чёрные лишь кончики крыльев. Сложит он их, когда сядет на землю, вот иной и примет крылья за хвост.

Развернулись дугой над землёй черногузов, перелетели в страну аистов. Старый вожак начал забирать выше.

И вот уже болото показалось темнеющим пятнышком с мелкими проблемками воды. А город — не больше тарелки. Поля начали мозаично складываться в многоцветные лоскутки. Земля становилась им картой, летели они теперь по карте, примечая ориентиры.

9

Как-то осенью небо заволокло тучами. Синей холодной рябью взялась река. Тихо, незаметно пошёл дождь.

Дожди шли и раньше. Дружные, грозовые. И малыши пугались грома. Вспыхнет в тёмных тучах зигзагами ослепительно золотая трещина, и до гнезда донесётся рокот, напоминающий грохот грузовиков на мосту. Только этот рокот шёл не снизу, как обычно, а сверху.

Да такие дожди, хотя и пугали громом, проходили быстро и не сеяли в душе тревогу и беспокойство.

Теперь же затянули надолго. Мелкие капли неприятно постукивали по крыльям, порошили глаза. Аисты прижались друг к другу, вытянули шеи. Смотрят на землю, а она вся поблекла и затянулась косиной дождя. Рваные ключья серой ваты цепляли ребристые мачты на крышах, причёсывали верхушки деревьев, доставали сучья гнезда. Никогда тучи не плыли так низко над землёю.

Грачи сидят на каланче, находились. Ветеринарная машина с голубым крестом в белом кружке, почёрканном каплями дождя, пронеслась. Мотоциклист, нахлобучив каску, летит против ветра. И всё вокруг такое неприятное, как намокшее гнездо. Аисты ёжатся от холода, поглядывают на трубу интерната.

Старый аист стоял одиноко и неподвижно на трубе интерната возле громоотвода, бессильно обвисали его мокрые крылья. Он всё так же смотрел куда-то в необозримую даль. Взгляд его был измученным и усталым.

10

В двадцати километрах к югу от башни, на самой границе с Украиной, стоит на реке Псёл небольшая многоэтажная мельница. Мельница давно, ещё до революции, сгорела, высокие стены освоили аисты. Целой колонией.

Аист-отец водил уже своих детей к мельнице, и они видели голые стены, похожие на соты, с вытекшими глазницами окон, гнёзда, напоминающие блюдца, и множество сородичей. Молодые аисты слетались в стаю со своими соседями и учились держаться рядом, сниматься и садиться разом. И как сойдутся высоко в небе крыло в крыло, лягут на курс — к югу. Пролетят немного Украиной, побудут черногузами, вернуться назад, к гнёздам. Так они пробовали ходить стаей.

Но однажды в обычный день, который ничем особенным не отличался от других таких же серых осенних дней, аисты необычно забеспокоились. Произошло что-то такое, чего молодые аисты ещё не знали, но чувствовали хорошо и к чему готовились всё лето. Старый аист поднялся с трубы интерна-

та, где он проводил теперь большую часть своей жизни, сделал круг над башенкой. И тот круг был для молодых аистов особым знаком. Они снялись по очереди друг за другом с гнезда. Сделали почётный круг над башенкой теперь все вместе — прощальный круг, легли курсом строго на юг.

Остались позади полуразрушенная церковь с пустым гнездом, широкая труба интерната, крыша пожарной каланчи, нахлобученная на смотровые окошки.

Промелькнуло под крылом серое болото с неприметной стёртой навсегда с поверхности земли кочкой, проплыло урочище. Показались высокие стены сгоревшей мельницы.

И когда появились молодые аисты над соседними гнёздами, вся колония пришла в ещё невиданное движение. Аисты начали сниматься с гнезд, кружиться над мельницей и соединяться в клин большой стаи.

Покинув гнездо, они шли строго на юг, земля плыла назад огромной картой. Лишь по ночам она проваливалась в тёмную бездну, посыпанную кое-где, точно светлячками, электрическими лампочками, кругами света больших городов. То была земля, которую они покидали, чтобы вновь, как только пригреет солнце и наступит тепло, возвратиться назад и вывести в старых гнёздах новое потомство.

II

А старый аист вернулся. Он всё так же стоял на краю гнезда, холодный дождь сёк его обвисшие крылья, порывистый ветер заламывал, шевеля, перья. У него не хватило бы сил на большой и длительный полёт в тёплые края, и он возвратился назад, как только показались стены мельницы, и оттуда начала сниматься вся колония. Теперь аист-отец был спокоен за своих питомцев.

К осени он совсем ослабел и на обратном пути остановился на болоте передохнуть, чтобы дотянуть до гнезда. Он молча постоял на том месте, где была когда-то чуть приметная кочка, и, тяжело вздымая крылья, еле оторвался от земли.

Иногда он куда-то улетал, медленно взмахивая посеченными крыльями, и его не было видно по два, по три дня. Но потом появлялся снова и подолгу стоял неподвижно в мёрзлом осиротевшем гнезде.

А молодые аисты находились уже далеко, очень далеко, за самым синим морем, и были не аистами, да и не черногузами, а назывались совсем по-другому, каким-нибудь иноязычным словом, которого мы и не слышали.

Лёт на землю снег. Высветлились дали. Заиндевели деревья. А белый аист стоял мёртво памятником в гнезде и на фоне белой зимы был чёрным.

НЕ СВОИМ СЧАСТЬЕМ

*Памяти Анны Яковлевны
Алфимцевой, русской женщины*

Прошёл слух, будто в Курске бабы вызволяют своих мужиков из плена. Не знала она, что его уже нет, жила надеждой.

Взяла свою выходную, так и не надетую ни разу кофту — его подарок, — отыскала кусочек, правда, истёртый, мыла, выловила из рассола пятачок огурцов. Завернула в тряпицу. Вышла, когда забрезжил рассвет.

Стёкла окон казались воронёной сталью, снег — иссиня-зафиолеченным. Искристо ершилась белыми иголками дорога.

Базар находился в райцентре — городе Судже. Прошла в раскрытые ворота, влилась в мёрзнушую на холоде толпу. Люд гуртовался жалкой кучкой в собственной управе посреди площади, шерились по светлеющему горизонту остистые развалины лавчонок. Кто носил белые, из-под крема, баночки; кто — никому не нужные глиняные статуэтки крошечных собачат; кто — бесполезные копилки в виде медведя с прорезью для монет на затылке.

Встречались на руках и шитые из перекрашенных шинелей, простроченные на машинке чуни, и кустарные калоши — резиновые самоклейки из автомобильных шин, и даже сапоги, правда, на фальшивой, из картона, подошве.

Стынут, морщиваются, пересыхая на морозе, руки; дубеют ноги. Подбирается под ветхую, до бахромы обношенную на руках одежку, холод.

Новая кофта никому не согдилась. А мыло и огурцы выручили. Шутка сказать: стакан соли дошёл до пятидесяти, десяток солёных огурцов — до ста, кусочек довоенного мыла — до трёхсот рублей!

Так она собрала полторы сотни, которые следовало внести для выкупа пленного, несколько раз ходила за справкой к старосте, пока не отнесла четверть самогонки, подбила такую же, как сама, солдатку-бобылку, собрала горстку сухарей, сварила бурак, заняла шмат тонкого, в палец, сала и двинулась в дальний путь.

Вышли по-тёмному. Ёжисто мерцали в вышине, будто их шевелил ветер, гаснущие звёзды, скрипел под ногами жёсткий снег. Смерзались на холоде инеем от дыхания ресницы. Зима выдалась лютая, забойная, снегу навалило внепроходь.

Дороги выбирали поглуше, чтоб не наткнуться на немцев, большие селения обходили стороной. Крутые, намётанные ветрами сугробы местами держали, а где проваливались — вязали тяжёлыми путами ноги. Раньше, бывало, с утра до вечера бегала без усталости, а теперь чувствовала, как всё больше слабеет и как силы, которым только б налиться, стравливаются на корню.

Заметно светлело. За сизой морозной дымкой просматривались окоёмные дали, редели, присаживаясь, деревья, мельчали, отступая, продутые ветрами кочки. Анна вспомнила, как тем же путём возили их в область на смотры. Сама маленькая, невзрачная, с ничем не приметными серыми глазами, а голосом — звонкая. Не зря же родилась в том краю, что с гордостью именуют соловьиным.

“Отпелись...” — подумала, глянув на подругу.

Катя Щетинина жила на соседней улице, в хуторе, вела вторым, вслед за Анной, голосом. Их часто выпускали на сцену обеих, дуэтом. Подруга была несколькими годами моложе, перед самой войной вышла замуж, и их месяц, который называют в народе медовым, оборвался в первый же день...

Солнце чуть-чуть поднялось над небокраем — злое, воспалённое. Холодило взятое ознобом небо. На морозе глаза мокрели, Катя трогала края век — мелкие капли тут же брались на варежке растёртыми крушинками снега.

К полудню сделали передых. Анна достала чёрный брус сухаря, сломом похожего на отпиленную доску, Катя вытянула из-за пазухи бутылку воды, которую хранила от мороза. Шмат сала и варёный бурак, нарезанный сиреневыми лепестками, оставили на обратный путь, чтобы поддержать силы, если отыщется кто из родных.

Раньше вот так, работая на “огороде” — в овощеводческой бригаде, — садились они на перекус рядом. Шутили, смеялись. Анна живая, бедовая во всём — и в работе, и в отдыхе — была заводилой.

“Присмирела...” — подумала о ней подруга.

Млеет точно молотками побитое тело; слипаются глаза. Анна испуганно глянула на солнце, обеспокоясь, что времени ушло много, а пути взято мало.

— Ну, не будем засиживаться.

В праздничные дни до войны они водили карагоды, наряжались в саяны и кокошники, расшитые золотой тесьмой и лентами, шли от улицы к другой, из деревни в деревню, припевая, выплясывая “Тимою”. Теперь же, таёшь и утопая в негу, совсем обессилив, подходили к лагерю военнопленных.

Город встретил провалами разрушений и пустынным безлюдьем. Анна сжалась вся, да так и держалась, цепеняя.

Улицы — глубокие проёмы; дома с бельмами вытекших окон. Чёрные дыры выбитых дверей. И колючая проволока в несколько рядов...

Слухи подтвердились: чёрные, заросшие по глаза щетиной пленные находились за оградой из колючей проволоки, бабы ходили по эту сторону, вы-

смотрящая своих. Пошла и она колючей стезёй вокруг лагеря, затаив дыхание, скрепив сердце.

Разные — в отвёрнутых на отмороженные уши пилотках, отчего ужатая голова казалась недоразвитой, а глаза выпученными, в онучах из мешковины вместо сапог, — они все были на одно лицо: небритые, худые, чёрные. И глаза блестели одной и той же безысходностью...

Видела она их, доводилось, когда ходила в район с огурцами и кофтой.

Пленные работали на железнодорожных путях, а вдоль станционного забора выстроились на снегу пилотки, похожие на раскрытые кошельки. Пожертвовала и она два огурца. Положила в одну, затем в другую пилотку, а весь ряд остался пустым...

После обеда, когда Анна возвращалась с базара, пленных гнали на ночёвку, и они, ещё издали вытягивая шеи, заглядывая в раскрытые кошельки, выскакивая из строя, разбирали пустые пилотки, натягивали их, холодные, на застывшие головы, а обывкшие к тому конвойные, равнодушно, для порядка, покрикивая: “Цюрюк!”, “Лос-лос!” — дёргали с плеч пояса винтовок и цокали затворами...

Эти, за проволокой, были не лучше — такие же измождённые, чёрные, заросшие по самые глаза густой щетиной. Трудно было определить их возраст, подростки выглядели стариками. Иные подходили к проволоке, иные держались в отдалении, светя из-под насунутых на брови пилоток взглядами случайных надежд, третьи же, обессиленные, лежали под сараем, не найдя места в укрытии.

Те, что подбегали, просили хлеба, но она сама со вчерашнего дня ничего не брала в рот и пожалела, что не смогла утаить варёный бурак и горстку сухарей. На первой же заставе их обобрал патруль, и не было бы так больно, если б отобрали чужинцы, а то ж свои, чёрношинельные — собачей собак.

Женщины выкрикивали фамилии, вытягивали шеи, вслушиваясь в глухой потаённый ропот по ту сторону загоры, и, теряя с каждым шагом веру, отчаиваясь, всё ещё на что-то надеялись.

Звала и она, распявшись на проволоке, вытягивая шею, жадно перебирая похожие одно на другое лица, да её будто не слышали. Или не понимали. Чужая она всем. И ей все чужие. Померк и в её глазах последний огонёк, глубинной болью в груди оборвалась надежда. Повернула назад той же тропкой, прожжённой слезами в снежных заметах, да вдруг, обернувшись и крикнула:

— Будищанские есть?!

Точно эхом перекинулось это слово через колючую проволоку, отозвалось в разных концах лагеря, и она снова замерла, вглядываясь в непонятное шевеление по ту сторону проволоки, прислушиваясь, может в каком сердце отзовётся оно радостным теплом.

Земляков не оказалось. Нашёлся нижнемаховский, из соседней деревни. Он был намного моложе, почти юнец, со светлым, чуть притенённым жгутиком пшеничных усов на верхней губе, с пушком мягких завитков на щеках. Его она не знала. Дико оскалась, что означало, должно быть, улыбку, бедняга смотрел через колючую проволоку по-детски обрадованными глазами, и у неё, дрогнув, больно отозвалось сердце.

“Возьму его, коли нет своих, — решила она, но тут же сама себе честно призналась: — Боюсь...”

Уговорились обо всём, пошли по обе стороны ограды к воротам.

На проходной проверяли справку от старосты. Долго смотрели то на неё, то на пленного. Выпытывали по несколько раз имена и фамилии друг друга, приметы села и подворья, дорогу домой. Интересовались, кто есть из родства.

— Врёшь, матка! — догадались.

Она знала, что за обман расстреливали обоих.

— Правду говорю, — еле выдохнула, выдавая себя.

Какой у неё голос был! Отнялся...

— Что ж ты такая старая супротив него? — спросил полицай в чёрной шинели с большими серыми отворотами на рукавах и узким, таким же серо-мжно-серым воротничком вокруг шеи. Губы у него были толстые, глаза на выкате.

— А я за войну такая стала...

— Забожись!

— Ей-богу, не вру, — наложила на себя крест.

В Бога она верила, карой оборотились ей те слова.

— Поцалуйтесь? — засмеялся полицай.

Кинулись, чуждо, костляво ощутив друг друга, обнялись неподдельно, искренне.

— От мы счас их пожемим! — потянулся к винтовке лупоглазый.

Свет померк. Дыхание забило. На земле, на всей земле не хватило воздуха. В страхе она ступила назад, наложив руки на грудь, и почувствовала колечко.

То обручальное колечко — святыню — она, подходя к первой заставе, спрятала в ставшую просторной за войну теснинку между грудями. Достала колечко, сунула полицая в руку.

Лупоглазый подиёс к морде кольцо, попробовал золото на зуб. Попытался напаялить на мизинец. Отставил руку, примеряясь со стороны.

...Домой возвращались втроём, теми же просёлками, подальше от бойких мест. Шли торопко. Радость, с которой поспешал пленный, передавалась им, женщины тянулись, чтобы не отставать. Анна украдкой поглядывала на совсем незнакомый профиль, и наряду с чем-то приятным, что теплилось в душе, ей приходили отчаянные, болью щемящие мысли, что вот так протрухали они почти двести вёрст туда и обратно и не нашли своих...

И когда на последнем взъёме, у перелеска, добрались до той развилки, что всё время она держала в голове, пленный — счастливый, но как бы виноватый — отвернул в свою деревню.

После войны Алфимцева пошла в свою бригаду. Там, на бураковом поле, и прошла её жизнь. Одинокая, неприятная, а всё же в каком-то трепетном ожидании: сколько их вернулось без вести пропавших и даже “убитых” в похоронках...

И вот, когда все, кто уцелел, вернулись и когда не на что было надеяться, появился на пороге тот, кого она не ожидала.

Он теперь чуть заметно прихрамывал, на щеке у него выделялся продолговатый шрам, которого раньше не было. Густая седина покрыла голову, на груди горели разноцветьем в несколько рядов ленточки наградных колодочек. В кабине сидели дети, похожие на него: светловолосые, голубоглазые. Притихшие. Робко светили виноватыми, словно неоплаченным долгом, глазами.

Она не слышала его благодарных слов. Не видела за слезами подарков, не чувствовала, как он надел ей на палец взамен того, пожертвованного, золотое кольцо, а, наложив руки на грудь, плакала. Плакала не своей, а чьей-то радостью, не своим, а чьим-то счастьем.

СВЕТ БОЖИЙ

В войну он ослеп после тяжёлого ранения.

Долго лежал в госпитале. В итоге комиссовали.

Приехал домой, завёл семью. По утрам выходил встречать рассвет, чувствуя луч солнца на лице. Обстоятельно, не торопясь, управлялся по двору: закладывал корове сено, колол дрова, носил воду. И всё — на ощупь. Руки заменили глаза.

Однажды навестил его друг детства. Виделись они давно, ещё до войны, и он не узнал голоса.

— Это какой Ваня?

— Да Ванюшка, не помнишь, гусей пасли разом, Шмак!

Теперь он уловил в изменившемся голосе какие-то знакомые отзвуки, а кличка и вовсе рассеяла сомнения. Стянутые шрамами веки часто заморгали. Но слёз не было.

Друзья обнялись и ощутили вроде что-то своё, близкое, родное и вместе с тем отчуждённо-крупное, заматерелое.

— Дай на тебя посмотрю.

Он поставил друга против солнца, протянул к нему руки. Тронул плечо.

— О как тебя вымахало!

— Дык и тебя — не меньше!

— И седой весь...

— Как видишь?

И вдруг, бросив кисти рук на лицо, слепой начал ощупывать подбородок, виски, лоб...

Пальцы натыкались на брови, западали в глазницы, оглаживали скулы. Казалось, это были руки ваятеля, лепившего своё выстраданное творение.

Узнал!

— Ну, как живёшь?

— Да ничего, слава Богу. А ты?

— Да я... Что я?..

Присел на бревно, пробуя рукой, где ровнее, пригласил, облюбовав место ощупью, друга.

— Топор, дрова, где рубить. Колодец, где верёвка, а где зацеп... Всё вот этими... — протянул руки ладонями вверх, показывая не в меру припухшие подушечки пальцев.

Помолчал минуту, добавил:

— Двадцать лет смотрел на свет божий и вот уже почти пятьдесят, как не взвидел его...

ГРУДЬ ГЕРОЯ

В сельском клубе вручали ветеранам войны юбилейные медали. Выстроились в алых галстуках почётной линейкой пионеры, ударили дробью барабаны. Притихли на сцене, в президиуме, бывшие воины.

Вызывали по очереди, согласно алфавиту, чтоб никого не обидеть.

Поднялся из президиума, вышел к рампе сцены Косицын Анатолий Ильич, офицер войны, разведчик. В школе его принимали в почётные пионеры, и он показывал палец, прокушенный фрицем, когда брали “языка”. Сам неказистый, к старости ещё больше усох — одна грудь выделяется, точно кольчужка, вся в орденах и медалях.

Стали цеплять новую, а некуда: грудь маленькая — наград много. Медальошку с трудом прикололи где-то под рукой.

А юбилей-то ещё впереди!

РОДНЫЕ МОГИЛЫ

Её отец во время войны ушёл на фронт и пропал без вести. Сколько лет прошло, а как встретит где братскую могилу — сердце ёкнет: может, он здесь?..

Подойдёт, замирая, к ограде, перебирая поспешно фамилии, и не найдёт, а не верится: сколько ошибок понесла война... Следопыты до сих пор открывают имена погибших.

Посмотрит на обелиск с безверием и верой, без надежды и с надеждой — и все могилы становятся ей родными...

Не так ли и могила неизвестного солдата: ничья — и каждого.

ВЛАДИМИР КАЛУЦКИЙ

ПЯТЫЙ ЕВАНГЕЛИСТ

Богатырь Великой Отечественной, иногда ловлю себя на том, что Господь щедр ко мне. Каждое утро даёт мне и новый день, и свежие запахи травы, и книги. Одной из таких книг стала для меня эпопея Владислава Мефодьевича Шаповалова “Белые берега”. К своему горю и к счастью одновременно, я прочёл роман только что. К горю, потому что такие книги должны входить в нашу жизнь с детства, а я был лишён такой возможности. Здесь есть всё – и история страны, и судьба человека одновременно. Причём в качестве главных героев я выделил отца и сына Бороздиных. Простая, как мы бы сказали, советская семья рядового советского врача. Кабы не война, Бороздины, пожалуй, лично так и не проявились бы и вряд ли бы “дотянули” до главных действующих лиц романа. Но вот она грянула и пришла к ним в дом. Ни спрятаться, ни отсидеться никому не удалось. И тут для меня в “Белых берегах” открылся некий момент истины, возникли качели: что же всё-таки главное в романе – судьба семьи или перипетии войны? Автору, понятно, близки обе эти темы, но мне кажется, что Владислав Мефодьевич всё-таки писал историю семьи на фоне войны, а не наоборот. Может, он не согласится с такой точкой зрения – я и не настаиваю. Но тема личностного мне вообще близка, и потому я понял роман так, как понял.

Бороздин всю жизнь стремился быть вне политики. Но общество было устроено так, что человек всегда и постоянно находился в гуще политики, отчего Бороздин-старший мучился. Он хотел быть вне войны – естественное состояние человека, хотел жить обыкновенной и простой жизнью, но в том мире, который устроен на земле, это невозможно.

По мере прочтения романа меня всё время вводило в сторону обобщений. Ибо в книге Владислава Мефодьевича слишком зримо присутствует вся война, и так получилось, что, пройдясь по страницам романа, я попытался восстановить для себя истинную историю мировой бойни. Я читал, обложившись словарями и топографическими картами, и ещё раз убеждался, что прочесть эту книгу должен был ещё лет тридцать назад.

Но в таком позднем прочтении есть и большой плюс. Всё-таки я был основательно подготовлен к прочтению “Белых берегов”, даже не подозревая об их существовании. И теперь имею возможность подтверждать положения книги поднакопленными знаниями. И книга укрепила меня в них. Маленький штрих, к примеру, хотя, может быть, это главный мазок и произведение, и всей войны. Поздние рецензенты, пусть и не напрямую, обвиняют Владислава Мефодьевича в антисемитизме. Но он ведь не обидел в книге ни одного еврея. Он лишь поднаметил тенденцию общей ответственности за войну – и немцев, и англичан, и русских, и евреев. Но я позволю себе высказаться жёстче. И для этого возвращаю вас ко временам Первой мировой войны. Разверните, например, “Атлас офицера” Советской Армии, скажем, издания

1948 года. И проследите за линией тогдашнего Западного фронта. И вы увидите сплошную полосу окопов от севера Франции до Италии. Сплошную, да не очень. Из войны как бы выпала территория Швейцарии. Это потому, что она была общим банком воюющих держав. Именно там держали свои капиталы люди с одинаковыми еврейскими фамилиями, финансировавшие обе воюющие стороны. Трогать Швейцарию не смели ни Пуанкаре, ни Вильгельм, потому что целиком зависели от тех же Ротшильдов, размещавших в их странах военные заказы.

Сущность Второй мировой войны яснее всех выразил президент США Гарри Трумэн: “Если мы увидим, что войну выигрывает Германия, мы будем помогать России, если будет выигрывать Россия, мы будем помогать Германии. Пусть они убивают один другого как можно больше. Нам от этого только польза”.

Война, как всё у вечных ростовщиков, оказалась чистой бухгалтерией. Эта “бухгалтерия” развязала Вторую мировую войну, определила количество жертв в сто миллионов.

А то, что в эту цифру войдут миллионы невинных их же собратьев по крови, им наплевать. Ведь евреи “внизу” для этой “бухгалтерии” такой же материал, как и другие народы.

По главному счёту, книга “Белые берега” – это не только литературное откровение. Я не знаю более признательного сыновнего “спасибо” своему родителю, чем этот отточенный труд. Посвящение к книге задает ей тон и настраивает душу читателя на разговор серьёзный, трудный, на размышление о себе и об эпохе. “Нет тебе ни памятника, ни холмика...” И сразу вспоминается скромная, почти неразличимая в осенней листве могила Льва Толстого. Стоишь рядом с неприметным местом – а сколько чувств обуревают тебя!.. Вот так и вступление к “Белым берегам” словно приоткрывает новый неведомый мир и создаёт загадку, отгадкой к которой является сама книга. Может ли сын слукавить перед памятью родителя Мефодия Михайловича? Нет, перед нами книга-правда, книга-совесть, книга-мастерство.

И это бесспорно, потому что каждая страница книги есть тщательно выверенная и великолепно исполненная работа. И какой бы части мастерства мы ни коснулись, всюду найдём подтверждение этих слов. Во-первых, Владислав Мефодьевич выступает здесь как настоящий чудесник языка. Он продолжает традицию классиков, где каждого узнаешь по паре строк. “Крикнул часовой. Он так же, сжав от холода в кулачки, держал за дуло карабин культей перчатки с пустыми опалыми сосками пальцев... в мелкой, похожей на срез яйца с тупой стороны каске... походил чем-то на вспуганную болотную птицу”. Во-вторых, писатель создал осязаемые, узнаваемые образы героев. Причём достигает он этого не путём простого описания, а через прямую речь, через поступки:

“– Габриэль, – указал на себя старший и перевёл немый палец на своего напарника: – Янелло.

– Я – Гриша, – представился дядя Гриша.

– Ягриша? – произнёс одним словом Габриэль”.

Можно долго писать о несовместимости мировоззрений оккупантов и местных жителей, а можно вот так, через диалог, в несколько слов вместить эту несовместимость. И у Владислава Мефодьевича в “Белых берегах” эта говорящая немногословность во всём – даже в описаниях природы. А она у него особая, чарующая, живая, она – участница событий. “Знакомо, до боли знакомо пролегла тысячу раз исхоженная улица. Пирамидальные тополя – дневные свечи – у окон выстроились в ряд... Разве может быть страшно, где каждый бугорок обласкан босыми ногами! Где каждая половица помнится сучком! Где вечный, свой... запах родного очага?!”

Разве может своя земля быть страшной? Это боль за судьбу героев, сплавленная в общую боль за всю многострадальную Родину. Причём боль без озлобленности: как мне показалось, Владиславу Мефодьевичу жалко всех – и оккупантов, и оккупированных. Он сумел подняться выше злободневных страстей, и это не та точка “над схваткой”, откуда на мир глядит безучастный повествователь. Это позиция мудрости, с неё хорошо видится губительность войны для всех участников, куда бы ни был направлен солдатский штык. Война пожирает всех без разбора.

Только участник войны мог написать такую книгу. И это даёт мне право утверждать, что “Белые берега” – это книга-документ, книга-предупрежде-

ние. Пример её героев – это наглядное подтверждение той истины, что чужой беды не бывает, и набатное напоминание каждому об ответственности за свои поступки.

В романе есть стержневая линия, с которой необязательно соглашаться. Но именно на неё, как на штык, нанизана эта книга. Осторожно, чтобы не вступать в спор с читателями и книги, и этой рецензии, обозначу её как национальную. Или наднациональную, если хотите. Моему поколению такой войны, слава Богу, не досталось, и оттого нам судить писателя как бы не с руки, если хотите – не по чину. Но я уже сказал, что “Белые берега” – это книга-предупреждение. Можно не разделять его мнения, но прислушаться к опасениям писателя нужно. Поверьте: он выстрадал и знает больше нашего. И он не лукавит.

А теперь посмотрите на карту Второй мировой войны. Правильно! У Гитлера, который мог проглотить “златокипящую” Швейцарию за полчаса, как хохол галушку, и мыслей не было оккупировать принадлежавшую еврейским банкирам страну. Потому что ни-з-зя... Потому что свой вермахт он питал от тех же корней. И как-то после этого не очень верится в “окончательное решение еврейского вопроса” по гитлеровскому варианту. Кто кого ожесточеннее уничтожал – это ещё вопрос.

... Вот ведь какие мысли всколыхнул превосходный роман первоклассного русского писателя Шаповалова. Я умышленно не перехожу на детальный разбор “Белых берегов”, ибо на каждой странице нахожу повод для размышления и ухода вглубь исследований. Но эта книга – не только труд для читателей, но и своеобразный учебник для писателей. Со времён прозы XIX века я не встречал в нашей литературе столь превосходного русского языка. Не случайно образец его художественного слова вошёл в учебник русского языка, по которому учатся дети страны и где блещут имена классиков А. Пушкина, Н. Гоголя, М. Лермонтова, И. Тургенева, Ф. Достоевского, Л. Толстого, А. Чехова, И. Бунина...

Рецензенты укоряют автора в украинизмах, но они – всего лишь разновидность нашей общей родной речи. Они несомненное достоинство книги уже сами по себе и совершенно необходимая составляющая в прямой речи героев романа.

Удивительно и то, как умело, ненавязчиво автор проводит по всей книге тему большой войны. Это редкий дар – показать большое на фоне малого. Но у Владислава Мефодьевича это отлично получилось.словно вскользь, между делом, вписаны в книгу страницы большого мира, но как же они характеризуют время: “Мимо, к фронту, проносились эшелоны с наибольшими товарными вагонами, набитыми шинельной солдатней, с платформами, ломящимися под гнётом танков, с двумя-тремя зелёными пассажирскими вагонами посередине для офицеров. На платформах, у зачехлённых танков, стояли бабами скифских времён охранники в тулупах с поднятым выше головы воротником, в тяжёлых – не передвинуть ногой – соломенных ботах поверх сапог, в шарфах, оставляющих один глаза, с винтовкой прикладом подмышку в скрещенных на животе рукавах; в окнах пассажирских вагонов мелькали за стеклом раздетые офицеры в подтяжках по нательному белью. А навстречу им пролетали, не останавливаясь, другие эшелоны – закрытые недоступные лазареты. Мелькали в окнах, посечённых верхними полками, подвязанные руки, забинтованные головы”.

В маленьком отрывке – почти фотографии момента – средоточие всех несчастий войны. Здесь и подневольные солдаты, и такие же обречённые офицеры, да и сама обстановка грядущей смерти – всё работает на тему безумия бойни. Не случайно навстречу готовому отправиться на фронт эшелону выскакивает другой – уже отбывший там своё: состав-калека, почти отражение первого, завтрашнего. И как бы вскользь оброненное упоминание о скифской каменной бабе насмерть припечатывает Вторую мировую войну к тысячелетней истории человеческой глупости. “Ничему не научила история людей”, – как бы говорит писатель.

И здесь, на мой взгляд, мы касаемся самой пронзительной струны произведения – темы любви и ненависти. И так получается, что маленькая любовь Миши неотделима от любви к большой Родине, а ненависть к предателю соразмерна с мысленным уничтожением всей фашистской нечисти. И это хорошо видно в финале книги, самом последнем, ударном её абзаце: “... Миш-

ка с надрывом, без передыху грёб воду обломком доски и уже на середине пути ощутил, как с одной стороны, сзади, ему в спину, и с другой, впереди, в грудь, ощетинились тысячи угрожающих дул, и он впервые подумал, что очутился меж двух огней и плывёт из одной безвестности в другую. . .”

Он плыл между ненавистью и любовью, но на войне и одно, и другое равно смертельны для честного человека. Мне близко ещё и то, что Владислав Мефодьевич выступает в романе настоящим патриотом. Книга его, чувствуется, болит в самом авторе – участнике той войны. И всё, что он написал, он имел право написать. Он обязан был написать хотя бы затем, чтобы я теперь мог доскональнее изучать по ней время и эпоху. И хочется верить, что она же поможет неведомому мне художнику сложить новый эпос о Войне и Мире, хотя и сами “Белые берега” – уже эпос. “Земля везде была арестованной”, – точно замечено автором по ходу повествования. В моей фамилии от войн за родную землю не уклонился никто по мужской линии. Прапрадед Платон Саввич вместе с молодым Толстым держал Севастополь, дед Павел Христианович едва не сложил голову в армии генерала Самсонова, отец Устин Павлович не расписался на рейхстаге только потому, что по мальчишескому росту не дотянулся до серого камня белым мелком. Сволочь-война нашла моих сыновей Владимира и Ярослава уже внутри себя, на Кавказе. И если кто-нибудь попрекнёт меня в предвзятости к книге Владислава Мефодьевича, я отвечу. Я имею право сказать, что любая ложь в оценке войны приводит к новой войне. А у меня уже растёт внук. И я не хочу, чтобы от моего малодушия ему досталась своя война с её “арестованной землёй”. И помогите мне в этом – “Белые берега” Владислава Мефодьевича Шаповалова.

Низко кланяюсь и своему отцу – фронтовику Устину Павловичу, и писателю Владиславу Мефодьевичу Шаповалову. Я тут посчитал: если совокупить их годы и обратить в прошлое, то окунемся мы почти в грозу 1812 года. Какая история уже в возрасте ветеранов! И, глядя рядом на нас, нынешних, я вынужден повторить слова поэта о нас: “Богатыри – не вы”.

А они – богатыри.